



Сергей Антонов

Задержка

«Автор»

2026

Антонов С. А.

Задержка / С. А. Антонов — «Автор», 2026

Кирилл слышит миллисекунды так, как другие слышат звук, - редкий дар, сделавший его лучшим инженером приоритета в городе Отклик, поделённом на стремительное Ядро и вечно опаздывающий Хвост. Когда экстренный вызов к его матери приходит с опозданием на семь секунд, а скорая после этого едет ещё восемнадцать минут, Кирилл узнаёт страшную правду: чужая медленность в этом городе - не случайность, а товар, которым тихо торгуют годами. Чтобы вывести эту правду в эфир, ему придётся обратить собственный дар против системы, которая его создала, - и заплатить за это единственной ценой, которая имеет значение: свободой, безопасностью тех, кого он любит, и правом когда-нибудь снова жить, не считая секунды. Роман о том, что скорость - не удобство, а оружие, и о цене честности в мире, где молчание всегда было безопаснее правды.

© Антонов С. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
ОГЛАВЛЕНИЕ	6
Глава	7
Глава	10
Глава	13
Глава	16
Глава	19
Глава	22
Глава	25
Глава	28
Глава	31
Глава	34
Глава	37
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Сергей Антонов

Задержка

Глава

Задержка

РОМАН

Антонов Сергей Алексеевич

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава

ГЛАВА 1

Миллисекунды

Я чувствую чужую задержку раньше, чем вижу цифру. Это не метафора и не профессиональная гордость — это буквально то, за что мне платят: сажусь напротив человека, слушаю первые три его слова, и где-то между вторым и третьим слогом тело само подсказывает число, с точностью до пяти-семи миллисекунд, ещё до того, как панель Моста выводит официальный отклик Канала. У большинства инженеров приоритета это ремесло, выученное на калибровочных стендах, — у меня, по личному делу, которое я сам не должен был читать, но прочитал в первую неделю в Ядре, значит формулировка «врождённая сенситивность неясной этиологии, крайне высокая коммерческая ценность». Я предпочитаю не думать о том, что вторая часть фразы обычно пишут не про людей, а про месторождения.

Сегодняшний клиент — П-0, разумеется, иначе не сидел бы в этом кабинете с окном на весь Ядро вместо обычной очереди в диспетчерской, — жалуется на «недопустимую деградацию отклика» в переговорной комнате на сорок третьем этаже холдинга, которым, кажется, владеет наполовину. Я слушаю три его слова. Отклик — сорок одна миллисекунда. Это меньше, чем время моргания человеческого века. Это меньше, чем задержка звука между двумя углами обычной комнаты, если бы звук распространялся не мгновенно, а как всё остальное в этом городе — по очереди, по приоритету, по счёту.

— Сорок одна миллисекунда, — говорю я вслух, для протокола, хотя цифра давно выведена на его собственную линзу, просто он предпочитает услышать её от живого специалиста, а не от системы, которой не доверяет по определению своего социального положения. — Это в пределах паспортной нормы П-0 с большим запасом. Технически неотличимо от нулевой задержки для любого человеческого восприятия.

— Я чувствую разницу, — говорит он тем тоном, каким П-0 обычно говорят фразы, начинающиеся с «я чувствую», — тоном человека, для которого собственное ощущение — уже достаточное юридическое основание.

Я мог бы сказать ему правду: что сорок одна миллисекунда — это меньше половины времени, за которое его же собственный мозг физически успевает осознать, что вообще что-то произошло, и что то, что он «чувствует», — не задержка Канала, а обычная человеческая тревожность человека, привыкшего к тому, что мир никогда, ни при каких обстоятельствах его не заставляет ждать. Вместо этого я открываю бланк приоритетной жалобы, отмечаю галочку «требуется техническая проверка локального узла», зная, что проверка ничего не найдёт, кроме идеально исправного оборудования, — но бланк даёт ему то, что ему на самом деле нужно: официальное подтверждение, что его недовольство кем-то замечено, обработано, взято в работу.

Это половина моей должности. Вторая половина — сидеть напротив людей с Хвостовых линий, у которых отклик не сорок одна миллисекунда, а четыре-пять секунд на простую транзакцию, семь-девять на что-то посложнее, и объяснять им ровно противоположное тем же самым, ровным, профессиональным голосом: технически в пределах паспортной нормы для их сегмента инфраструктуры, ничего личного, оборудование района действительно старше, трафика действительно больше, очередь действительно длиннее, потому что очередь всегда длиннее там, где в очереди больше людей, а больше людей там, где меньше денег на новое железо, а меньше денег там, где очередь длиннее уже целое поколение до тебя. Круг замыкается сам на себе так аккуратно, что ни в одной отдельной его точке невозможно указать пальцем на

конкретную несправедливость — только на весь круг целиком, а показывать пальцем на весь круг целиком не входит в мою должностную инструкцию.

• • •

После смены я, как обычно, не иду прямо домой, а поднимаюсь на технический балкон сорок девятого этажа — формально для сотрудников с допуском выше третьего уровня, неформально место, куда почти никто не поднимается, потому что вид оттуда на Ядро ночью слишком очевиден, чтобы его нужно было специально фотографировать: город внизу не мигает, не запаздывает, не пульсирует — он просто есть, весь целиком, в каждой точке одновременно, как будто время для него — необязательная деталь, которую можно опустить.

Хвост отсюда не виден — не потому что далеко, а потому что архитектурно вынесен за периметр обзорных этажей, кем-то из проектировщиков решившим, что вид на собственную периферию не способствует продуктивности сотрудников Ядра. Я знаю его не глазами, а телом: если закрыть глаза и представить себе тот самый район, где я вырос, у меня внутри до сих пор возникает то же лёгкое, тянущее чувство ожидания, с которым живёт каждый ребёнок Хвоста, — привычка ждать отклика на любое движение на четверть секунды дольше, чем требуется, привычка, которую я, по документам Остова, «полностью преодолел в ходе адаптационного периода», а по факту просто научился прятать под ровным голосом инженера приоритета.

Звоню маме — не по видеосвязи, она не любит, когда я вижу её кухню теперь, после того как я переехал, будто разница в отделке между её квартирой и моей — это что-то, за что ей должно быть стыдно передо мной, хотя стыдиться, если уж на то пошло, должен я.

— Ты опять на балконе торчишь, — говорит она вместо приветствия, потому что ей не нужна видеосвязь, чтобы узнать по одному тому, как я дышу в микрофон, где именно я стою. — Твой отец тоже любил высоту. Спускался бы вниз изредка, посмотрел на нормальных людей.

— Нормальные люди — это которые в Хвосте? — спрашиваю я, и в вопросе больше нежности, чем сарказма, хотя по одной интонации это сложно различить, и я знаю, что она различает правильно, потому что она всегда различала правильно, даже когда я был подростком и специально путал одно с другим, проверяя, поймает ли она подвох.

— Нормальные люди — это которые не забывают, откуда они, — говорит она, и это не упрёк, хотя звучит как упрёк, — это просто факт, произнесённый вслух женщиной, которая никогда не считала нужным смягчать факты ради моего комфорта.

Разговор длится шесть минут сорок секунд — я не считаю специально, просто профессиональная деформация: часть меня всегда, при любом разговоре, фоновое отслеживает временные интервалы, миллисекунды между репликами, задержку её голоса на линии, которая у неё, я знаю точно, потому что сам когда-то, ещё стажёром, тайком проверял её линию по личному коду допуска, — четыре целых две десятых секунды. Не худшая в Хвосте. Не лучшая. Средняя, ничем не примечательная задержка обычной пожилой женщины на обычном тарифе района, где я родился и откуда сбежал ровно настолько успешно, чтобы иметь возможность звонить ей раз в неделю с балкона, с которого её саму даже не видно.

Мы прощаемся. Она говорит «звони» тем тоном, каким это говорят люди, давно смилившиеся с тем, что просьба и её исполнение — разные категории событий, связанные между собой не причинно, а разве что статистически, по надежде.

• • •

Ася пишет мне тем же вечером — редко, раз в месяц, может, реже, всегда коротко, всегда без предисловий, будто между нашими сообщениями никогда не проходит времени больше, чем требуется, чтобы дочитать предыдущее.

«Твоя мать была права насчёт балконов. Спустись как-нибудь. Не ради меня, я переживу. Ради себя».

Я не отвечаю сразу — не потому что не знаю, что сказать, а потому что знаю слишком хорошо, и первый вариант ответа всегда честнее второго, а второй вариант всегда безопаснее

первого, и я, как обычно, выбираю время подумать над вторым, вместо того чтобы отправить первый.

Мы не разговаривали лицом к лицу почти два года — с того самого дня, когда я забираю последние вещи из общей квартиры на границе Хвоста, а она стояла в дверях с тем выражением лица, которое я потом месяцами пытался забыть и не смог, потому что оно было не про злость, не про обиду, а про что-то куда более простое и куда более необратимое: про то, что она наконец окончательно поняла, что я выбираю не работу, не карьеру, не Ядро как таковое, а конкретно — не её.

Она не ошиблась. Просто произнесла это тогда вслух раньше, чем я сам был готов прознести это даже про себя.

Я закрываю линзу, не ответив, — привычка, которую сам себе не могу простить, но и изменить пока тоже не могу, — и сплю в ту ночь без снов, насколько это вообще возможно для человека, тело которого даже во сне продолжает где-то на самом дне сознания отсчитывать миллисекунды между вдохом и откликом собственного сердца, будто и там, внутри, есть очередь, в которой можно оказаться не первым.

• • •

Уведомление приходит в четыре семнадцать утра — не как обычный сигнал, ровный и вежливый, каким Канал будит людей на паспортных П-0/П-1 частотах, а тем рваным, дребезжащим паттерном, который зарезервирован городом для одной-единственной категории входящих: экстренный вызов с адреса, привязанного к моему личному профилю как «контакт первой линии».

Я успеваю понять две вещи одновременно, прежде чем окончательно проснуться, — не как факты, а как чистое, дотекстовое узнавание тела, которое считает быстрее, чем я успеваю подумать: адрес принадлежит Хвосту. И вызов уже идёт седьмую секунду, прежде чем долетел до меня, — семь секунд, которые я, специалист по миллисекундам, человек, которого держат в Ядре именно за способность чувствовать разницу между сорок одной и сорока двумя тысячными долями секунды, могу измерить только одним способом, самым варварским и самым точным из всех доступных мне на этой земле, — считая, сколько времени я не могу дышать, слушая, как экран Моста дозагружает оставшуюся часть сообщения.

Глава

ГЛАВА 2

Физический уровень

Первое, что я делаю, — не звоню, не кричу, не бегу к двери. Первое, что я делаю за девятнадцать лет тренировки и три года должности инженера приоритета, — открываю служебную панель прямо с домашней линзы, нахожу её профиль по коду допуска первой линии и вручную, обходя очередь, обходя тариф, обходя вообще всё, для чего у меня есть допуск и подпись, поднимаю её приоритет с П-5 до П-0.

Это занимает четыре секунды. Я знаю точно — я всегда знаю точно, — потому что часть меня, та самая, что не отключается даже в панике, отсчитывает их вслух где-то на дне черепа: одна, две, три, четыре, готово, зелёная галочка, подтверждение от Канала, теперь её сигнал идёт быстрее, чем сигнал любого П-0 в Ядре, потому что я, в отличие от большинства инженеров моего уровня, умею продавливать приоритет не через форму, а напрямую, руками, вслепую, на ощупь, как играют знакомую с детства мелодию.

Четыре секунды — это не подвиг. Это то, что я обязан был сделать три года назад, когда только получил допуск, и не сделал, потому что мать сама запретила мне «злоупотреблять служебным положением ради личных нужд» — она произносила эту фразу с той же интонацией, с которой произносила все фразы про честность, доставшиеся ей от собственных родителей, для которых честность когда-то, видимо, была роскошью, которую они могли себе позволить, а не тем, что стоило им, как выяснилось сегодня ночью, задержки в семь секунд на распознавание сигнала и ещё восемнадцать минут сверх того — на физическое прибытие помощи.

Восемнадцать минут — это не про Канал. Канал я уже победил, я уже сделал ровно то, для чего меня вытащили в Ядро и чему учили три года: превратил её из невидимого пакета в конце очереди в приоритетный сигнал, который ни одна система в городе не имеет права игнорировать. Восемнадцать минут — это то, что происходит после того, как сигнал дошёл: сколько машин скорой помощи физически стоит на дежурстве в радиусе Хвоста, сколько из них исправны, сколько врачей укомплектовано на смену, сколько километров реального асфальта, а не абстрактных миллисекунд Канала, отделяет ближайшую доступную бригаду от дома, в котором я вырос.

Я узнаю это не из панели приоритета — панель приоритета торжествующе показывает мне зелёный, идеальный, образцовый П-0, — а из диспетчерского журнала скорой помощи, куда у меня, по случайности карьеры, тоже есть доступ третьего уровня. Бригада, назначенная на вызов, стартует из депо, которое обслуживает весь Хвост целиком, — единственного депо на район, где живёт по официальной статистике больше народу, чем во всём Ядре, — потому что депо строили в расчёте на «среднюю нагрузку района», а не на количество людей, а среднюю нагрузку рассчитывали по формуле, в которую я, три года просидев инженером приоритета, ни разу не заглядывал внимательно, потому что моя часть работы кончалась на границе данных, а не бетона.

Я узнаю о её смерти не по официальному уведомлению — оно приходит на сорок минут позже, в аккуратной, вежливой формулировке, которую пишут люди, которых учили писать такие формулировки так, чтобы не спровоцировать иск, — а по тишине на линии, когда я, уже одетый, уже в лифте, уже опаздывающий на скоростной транспорт до Хвоста, звоню ей просто чтобы услышать голос, и слышу вместо голоса длинный гудок пустой квартиры, где телефон продолжает работать, потому что телефон — не человек, и Канал не умеет знать разницу.

• • •

Дорога до Хвоста занимает сорок одну минуту — я знаю точно, я всегда знаю точно, — и я провожу их не в панике, а в том специфическом, ледяном спокойствии, которое, как выяснилось, наступает не после горя, а вместо него, откладывая горе на потом, на удобное время, как откладывают тяжёлый файл, который знаешь, что придётся открыть, но не сейчас.

Квартира, когда я наконец добираюсь, уже пуста в том смысле, в каком бывают пусты квартиры, откуда увезли тело, — участковый инспектор, обычный, безымянный, уставший, привычно объясняет мне порядок оформления, будто я не сын, а следующий пункт в его смене, и, наверное, для него я и есть следующий пункт, потому что таких смен у него, судя по лицу, было слишком много, чтобы делать различие между чужим горем и своей должностной инструкцией.

— Приоритет ей подняли вовремя, — говорит он, явно пытаясь меня утешить тем единственным способом, каким умеет утешать человек его профессии, — редкий случай, обычно и этого не бывает. Просто скорой ехать было далеко. Бывает.

«Бывает» — слово, которое я слышал тысячу раз с другой стороны стола, произнося его сам, вежливо, ровно, про чужую задержку, про чужой Хвост, про чужую очередь, — и только сейчас, здесь, в дверях квартиры, где я вырос, оно наконец достигает меня с той стороны, с какой я его никогда прежде не пробовал на вкус.

Я сижу на кухне до утра, не потому что жду чего-то, а потому что не знаю, куда деть тело — не её тело, уже увезённое, а собственное, которое отказывается вставать со стула, где сидела она, где стоял отцовский любимый вид на балкон, о котором она напоминала мне неделю назад, будто знала, что это последний раз, когда у неё будет возможность напомнить.

• • •

Ася приходит без звонка, без предупреждения, тем же самым способом, каким приходят люди, которые в этом районе всегда узнают о таких вещах раньше, чем приходит официальное уведомление, — потому что в Хвосте новости расходятся не по Каналу, а по-старому, из уст в уста, быстрее любой официальной задержки, будто человеческая цепочка сарафанного радио умеет обходить приоритет так, как не умеет обходить его ни одна панель допуска.

Она садится напротив меня, не обнимает, не говорит стандартных слов утешения — она никогда не умела говорить стандартных слов, и я всегда за это её любил больше, чем за что-либо ещё, — просто ставит на стол две чашки, заваривает то же самое, что заваривала мать, тем же самым, судя по звуку, чайником, который я не выбрасывал три года не потому что жалко, а потому что не хватало духа признать, что квартира, где я больше не живу, продолжает жить без меня в своём собственном темпе, ничего от меня не спрашивая.

— Восемнадцать минут, — говорю я наконец, потому что это первое, что я в состоянии произнести вслух за шесть часов молчания. — Канал я обошёл за четыре секунды. Дальше — восемнадцать минут физики, которую я даже не подумал проверить за три года работы.

— Ты не проверил, потому что тебя учили не проверять, — говорит Ася, и в голосе у неё нет упрёка, только та самая прямота, за которую меня когда-то приняли и от которой я потом сбежал, будто прямота — это то, что можно перерастить. — Вас там в Ядре, наверное, вообще не учат думать про бетон. Вас учат думать про биты. Бетон — это уже наша забота, испокон веков. Мы про него думаем каждый день, потому что каждый день ходим по нему пешком, а не летаем на скоростном транспорте с личным приоритетом.

— Я мог бы узнать раньше, — говорю я. — У меня был доступ.

— Мог бы, — соглашается она, не смягчая удар, потому что смягчать удары никогда не входило в её представление о дружбе. — Но не узнал, потому что не хотел знать, потому что знание обязывало бы тебя что-то с этим делать, а делать что-то означало бы признать, что твоя новая жизнь построена ровно на том же принципе, который убил твою мать, только с другой стороны уравнения.

Это жестоко. Это также, насколько я способен судить сквозь горе, притупляющее способность судить о чём бы то ни было трезво, — правда, произнесённая тем единственным человеком в моей жизни, который никогда не считал нужным подавать мне правду порциями, удобными для усвоения.

• • •

Через два дня, вернувшись в Ядро на похороны — тихие, маленькие, оплаченные мной из зарплаты, которую я получаю за то, чтобы решать, кому в этом городе сколько миллисекунд достанется от общего, якобы ограниченного ресурса, — я делаю то, чего не делал три года: открываю не панель приоритета отдельного человека, а сводную статистику пропускной способности всего Хвоста за последний квартал, ту самую, что лежит в открытом доступе для любого сотрудника третьего уровня, но которую я, по молчаливому соглашению с самим собой, никогда прежде не открывал целиком, предпочитая работать с отдельными случаями, где вина, если она вообще существует, размывается на тысячи мелких, безличных решений.

Цифры не сходятся. Не драматично, не очевидно с первого взгляда — ровно настолько, чтобы не сходиться незаметно, тем самым способом, каким не сходятся цифры, которые кто-то давно научился аккуратно не сходить.

Заявленная причина хронической перегрузки Хвоста — «устаревшее оборудование района, требующее капитального обновления, запланированного на следующий бюджетный цикл» — та же формулировка, что я слышал три года подряд, произносил сам десятки раз клиентам с Хвостовых линий, всегда с той же интонацией профессионального сожаления, за которой, как оказывается теперь, когда я впервые смотрю на цифры не по одному случаю за раз, а все вместе, скрывается нечто куда менее невинное: пропускная способность физического бэкбона под Хвостом за последние пять лет выросла на тридцать один процент — вложения в новое оборудование, задокументированные, оплаченные, реально произошедшие. А заявленная задержка сегмента за те же пять лет не сократилась ни на миллисекунду.

Я сижу с этой цифрой до рассвета — второй раз за неделю, — и впервые за три года службы в Ядре чувствую не привычную профессиональную чувствительность к чужим миллисекундам, а нечто куда более грубое, куда менее подконтрольное тренировке: ту самую тянущую пустоту в груди, с которой начинается любое расследование, которое человек начинает не потому что хочет знать правду, а потому что больше физически не может продолжать не знать её.

Глава

ГЛАВА 3

Орлов

Возвращаться на службу через четыре дня после похорон — не решение, а капитуляция перед устройством собственного тела: горе, как выясняется, не отменяет необходимости платить за квартиру, а неоплаченная квартира в Ядре, в отличие от неоплаченного резидуума где-нибудь в другом городе, о котором я никогда не узнаю и знать не хочу, попросту переводит тебя на менее престижный ярус за одну расчётную декаду.

Первый клиент дня — снова П-0, снова жалоба на «недопустимую деградацию», снова сорок с небольшим миллисекунд, которые я обязан выслушать с тем же ровным профессиональным сочувствием, что и неделю назад, будто неделю назад со мной не произошло ровным счётом ничего, что могло бы поставить под сомнение саму способность моего голоса звучать ровно.

Я справляюсь. Это, наверное, самое отвратительное, что я узнаю о себе за этот день, — не то, что горе оказалось тяжёлым, а то, что профессиональный автопилот оказался сильнее горя, способным вывезти меня через восемь часов чужих жалоб на миллисекунды, пока где-то на самом дне сознания продолжает крутиться одна-единственная цифра: тридцать один процент вложений, ноль изменения в задержке.

• • •

Орлова я нахожу не потому, что искал специально, — я о нём вообще почти забыл за три года, — а потому что вспоминаю случайную деталь из ориентационной недели, когда меня, свежепривезённого из Хвоста стажёра, водили по этажам Остова и на техническом архивном этаже — том самом, куда обычные инженеры приоритета не заглядывают, потому что там хранят не действующие системы, а списанные, — показали сутулого пожилого человека за столом, заваленным бумажными, не электронными распечатками, и сказали с той специфической интонацией, с какой рассказывают про музейный экспонат: «Матвей Петрович Орлов, один из тех, кто проектировал первую версию системы приоритета. Сейчас — архивариус легаси-документации. Спросите его что угодно про историю Канала, если интересно, но учтите, у него свои взгляды на некоторые вещи».

«Свои взгляды на некоторые вещи» — формулировка, которую я тогда пропустил мимо ушей, потому что стажёру, только что вырванному из Хвоста и оглушённому собственным везением, не до чужих взглядов, — но которая три года спустя вдруг всплывает в памяти с той же ясностью, с какой всплывает нужное число в разговоре с задержавшимся клиентом.

Архивный этаж не изменился — тот же сутулый человек за тем же столом, будто три года для него прошли короче, чем для остального Остова, где всё меняется ежеквартально, кроме одного упрямого архивариуса, которого, судя по слою пыли на соседних, давно не разбираемых стеллажах, держат здесь скорее по инерции корпоративной вежливости к ветерану, чем по реальной необходимости в его работе.

— Кирилл, — говорит он, не поднимая головы от распечатки, прежде чем я успеваю представиться, — сын Людмилы из третьего сектора Хвоста. Соболезную. Я слышал.

— Вы её знали? — спрашиваю я, слишком удивлённый, чтобы сформулировать вопрос иначе.

— Я знал многих из третьего сектора, — говорит Орлов, наконец поднимая на меня взгляд — светлый, внимательный, ничуть не такой рассеянный, каким полагается быть взгляду музейного экспоната. — Я там жил первые сорок лет жизни, прежде чем меня, как и вас, «заметили». Тогда это называлось иначе, но суть та же: редкий технический талант вытаскивают

наверх, чтобы использовать его там, где он приносит больше пользы системе, чем району, который его вырастил. Садитесь. У вас лицо человека, который пришёл не за соболезнованиями.

Я сажусь. Рассказываю — не всё, но достаточно: цифры, тридцать один процент, ноль изменения в задержке, восемнадцать минут физической дороги, которые я мог бы предотвратить три года назад, если бы хоть раз посмотрел на статистику района целиком, а не на отдельные случаи, аккуратно разложенные передо мной должностной инструкцией так, чтобы никогда не складываться в общую картину.

Орлов слушает, не перебивая, тем же самым способом, каким, судя по всему, слушал десятилетиями, — и когда я заканчиваю, встаёт, идёт к одному из пыльных стеллажей, безошибочно, не глядя на подписи, вытаскивает папку, которую, судя по толщине слоя пыли поверх неё, не открывал очень давно, но точно знал, где она стоит, все эти годы.

— Тридцать один процент, — говорит он, кладя папку на стол между нами. — Я нашёл почти ту же цифру одиннадцать лет назад. Двадцать семь процентов за пятилетку, если быть точным, — тенденция началась раньше вас, Кирилл, задолго до того, как вы вообще узнали слово «приоритет». Я тогда был начальником отдела инфраструктурного планирования, входим в комитет распределения бюджета. Я задал вопрос вслух, на комитете, при свидетелях: куда физически уходят деньги, если официальная задержка Хвоста не двигается с места вот уже третий бюджетный цикл подряд.

— И что вам ответили?

— Мне ответили, что вопрос некорректно поставлен, — говорит Орлов с той горькой сухостью, с которой, видимо, произносят подобные фразы люди, произносившие их уже много раз самим себе, репетируя, прежде чем произнести хоть раз кому-то другому. — Что задержка — не линейная функция вложений, что есть множество факторов, что я, при всём уважении к моему техническому таланту, не специалист по макроэкономике распределения ресурсов. Формально каждое слово было правдой. Совокупно — это была самая изощрённая форма лжи, какую я встречал за всю карьеру: ложь, полностью состоящая из отдельных, безупречно правдивых утверждений, ни одно из которых не отвечало на заданный вопрос.

Он открывает папку. Внутри — не электронные файлы, а старые, буквально распечатанные на бумаге таблицы, испещрённые пометками от руки, разными чернилами, будто он возвращался к этим цифрам не один раз, а десятки раз за минувшее десятилетие, каждый раз добавляя новую деталь, новую стрелку, новую связь между колонками, которые официально никогда не должны были стоять рядом друг с другом.

— Смотрите сюда, — говорит он, тыча пальцем в колонку, подписанную аккуратным, чуть старомодным почерком: «Резервная ёмкость, проданная третьим лицам». — Физическая пропускная способность бэкбона под Хвостом действительно росла все эти годы — вложения были настоящие, оборудование действительно новее, чем было раньше. Но приоритетный доступ к этой новой ёмкости распределяется не по тарифным планам жителей района. Он продаётся отдельно, оптом, внешним арендаторам — компаниям, которым нужны гарантированные окна с предсказуемо низкой задержкой для операций, где решают доли секунды. Торговые платформы. Логистические аукционы. Один контракт, который я успел откопать до того, как мне закрыли доступ к этому разделу архива, был подписан с консорциумом, торгующим на биржах соседних городов, — им нужен физический канал именно под Хвостом, потому что географически это кратчайший маршрут к внешнему узлу, а не потому что кому-то из них есть дело до людей, которые формально живут прямо над этим самым каналом и продолжают ждать пять секунд простого запроса, будто под ними не проходит труба, способная обслужить их вдесятеро быстрее.

Я молчу дольше, чем требуется, чувствуя, как складывается в голове картинка, которую я предпочёл бы никогда не собирать целиком: жители Хвоста в буквальном, физическом смысле сидят на трубе, способной дать им нормальную скорость, — трубе, которую они сами, через

тариф и налоги на инфраструктурное развитие, годами оплачивали как «капитальное обновление района», — а фактическая ёмкость этой трубы сдаётся в аренду мимо них, тем, кому нужны миллисекунды для прибыли, а не для того, чтобы скорая успела доехать на восемнадцать минут раньше.

— Почему вы не довели это до конца одиннадцать лет назад? — спрашиваю я, и вопрос звучит жёстче, чем я хотел, будто в нём спрятан упрёк не столько Орлову, сколько самому себе на три года вперёд.

— Довёл, — говорит он просто. — Написал докладную записку с полным расчётом, подал её по всем правилам, через все положенные инстанции. Через две недели меня перевели с должности начальника планирования на должность архивариуса легаси-документации — понижение, оформленное как забота о моём здоровье, потому что мне, видите ли, «пора меньше нервничать в моём возрасте». Мне было пятьдесят два. С тех пор я сижу здесь, разбираю бумаги, которые никому не нужны, и жду — не знаю, если совсем честно, чего именно жду, — вежливо и медленно, тем самым способом, каким Остов умеет нейтрализовать неудобного человека, не давая формального повода назвать это мстью.

— Вас не уволили.

— Меня незачем было увольнять, — говорит Орлов, и в голосе у него впервые за разговор проскальзывает что-то похожее на настоящую, немолодую усталость. — Уволенный человек может подать в суд, дать интервью, стать проблемой для чьей-то репутации. Пониженный до архивариуса человек — просто тихо стареет в углу здания, которое сам когда-то помогал строить, и с каждым годом всё меньше людей вообще помнит, что у него когда-то было мнение, за которое стоило бояться.

Он закрывает папку, но не убирает её обратно на полку — оставляет на столе, между нами, тем жестом, значение которого я понимаю раньше, чем он произносит следующую фразу вслух.

— Я слишком стар и слишком заметен, чтобы копать дальше самому, Кирилл, — говорит он. — А вы молоды, у вас безупречная репутация человека, чей дар им слишком дорого обходится, чтобы списать со счетов при первом же неудобном вопросе, и у вас теперь есть личная причина не останавливаться, какой у меня одиннадцать лет назад, признаюсь, не было — тогда я задавал вопрос из принципа, а принцип, как выяснилось, недостаточно тяжёлый груз, чтобы нести его в одиночку десятилетиями. Возьмите папку. Начните оттуда, где остановился я. И, Кирилл, — добавляет он, когда я уже поднимаюсь, папка под мышкой, — что бы вы ни нашли дальше, не приносите это сюда, на этот этаж. Меня и так слишком долго терпят из вежливости. Второй раз вежливости может не хватить ни на меня, ни на вас.

Глава

ГЛАВА 4

Ася

Папка Орлова, разложенная на моём столе тем вечером, выглядит анахронизмом настолько демонстративным, что несколько минут я просто смотрю на неё, прежде чем начать читать, — бумага в квартире, где даже кофейная кружка синхронизируется с Каналом, чтобы напомнить, когда остывает, кажется артефактом другой, менее подозрительной эпохи, когда мысль ещё можно было спрятать от системы простым способом: не переводить её в цифру.

Ближе к середине папки, среди расчётов и старых, пожелтевших от времени распечаток бюджетных смет, я нахожу то, ради чего, кажется, Орлов вообще держал эту папку одиннадцать лет, не выбрасывая, — единственный уцелевший фрагмент контракта, дата которого совпадает с началом устойчивого расхождения между вложениями и задержкой: «Соглашение о выделенном канальном окне между Остовом и биржевым консорциумом „Тракт“, приоритет доступа П-0, срок действия — бессрочно с автоматической пролонгацией, техническое обоснование — использование существующей резервной ёмкости района Хвост-3 в часы минимальной бытовой нагрузки».

«Часы минимальной бытовой нагрузки» — оборот, который мог бы звучать почти невинно, если бы не то, что я знаю профессионально и что Орлов, судя по пометке на полях его собственным почерком, знал ещё лучше: минимальная бытовая нагрузка в Хвосте приходится не на глухую ночь, как в Ядре, где люди спят по расписанию комфорта, а на рабочие смены — то самое время, когда взрослые Хвоста массово находятся вне дома, на заводах, в депо, на низкооплачиваемых сменах, где им, по идее, вообще не полагается активно пользоваться Каналом, — то есть ровно то время, когда экстренный сигнал от кого-то, оставшегося дома в одиночестве, скорее всего от старика или ребёнка, с наибольшей вероятностью совпадёт с окном, официально запроданным консорциуму «Тракт» под гарантированную низкую задержку для их собственных операций.

Я сижу с этой мыслью дольше, чем мне хотелось бы признавать, — потому что моя мать умерла не ночью, не в случайный час, а именно в те утренние часы, когда статистически большинство её соседей уже разошлись по сменам, а она осталась одна, и я впервые задаюсь вопросом, который потом уже не смогу перестать задавать себе: было ли конкретное окно её смерти случайностью или частью той же самой, заранее просчитанной статистики, по которой чья-то смерть в определённый час недели считается допустимой погрешностью контракта, а не отдельным, персональным горем.

• • •

Я еду в Хвост не потому, что решил, а потому, что тело само выбирает направление скоростного транспорта раньше, чем я успеваю сформулировать себе рациональную причину, — и когда поезд останавливается на станции третьего сектора, я обнаруживаю, что иду не к материнской квартире, где мне физически нечего больше делать, а к дому Аси, тем же маршрутом, каким ходил туда десять лет подряд, будто ноги помнят город лучше, чем помнит его моя сознательная, тщательно отредактированная за три года жизни в Ядре память.

Она не удивляется, увидев меня в дверях, — открывает так, будто ждала не конкретно сегодня, а вообще какого-то дня вроде этого, статистически неизбежного рано или поздно.

— Заходи, — говорит она просто. — У меня люди. Обычный вторник.

«Люди» оказываются пятью или шестью соседями разного возраста, сидящими в её маленькой гостиной вокруг стола, заваленного оборудованием, которое я узнаю профессионально быстрее, чем успеваю осознать, что узнаю: разобранные корпуса Мостов старой про-

шивки, паяльные станции, самодельные программаторы, собранные явно не из магазинных наборов, а из того, что можно достать по частям, не привлекая внимания единого закупочного реестра.

— Кир, — говорит Ася, не понижая голоса, будто моё появление не требует от присутствующих никакой особой осторожности, что само по себе говорит мне больше, чем сказали бы любые слова, — либо она им обо мне уже рассказывала, либо доверяет мне куда больше, чем я, если честно, заслужил тремя годами молчания.

Разговор в комнате не прерывается полностью — просто становится чуть тише, чуть осторожнее в формулировках, тем самым способом, каким разговор становится в присутствии человека, чья лояльность формально числится за другой стороной, даже если лично к нему претензий нет.

— Мы поднимаем фактический приоритет вручную, — объясняет Ася позже, когда мы выходим на кухню, оставляя остальных за столом. — Не так изящно, как ты умеешь это делать одним движением с панели допуска, — грубее, физически, перепрошивая сам Мост на приём альтернативного маршрутного пакета, обходящего официальную классификацию тарифа. Работает нестабильно, требует постоянного обслуживания, и Остов время от времени находит и штрафует тех, кого ловит, — довольно жестоко, если совсем честно, показательно жестоко, чтобы отвадить остальных. Но по крайней мере эти люди в моей гостиной сегодня получают ответ мира на пол секунды быстрее, чем получали бы официально, и иногда пол секунды — это разница между тем, успеешь ты среагировать на что-то важное или нет.

— Вы знали про «Тракт»? — спрашиваю я, кладя папку Орлова на кухонный стол между нами.

Ася листает бегло, но не небрежно — тем взглядом человека, который уже видел похожие цифры раньше, просто не в такой аккуратно собранной форме.

— Мы знали, что что-то продаётся, — говорит она. — Не название, не механизм, не контракт целиком — просто наблюдение, накопленное годами: задержка иногда становится ощутимо хуже в конкретные часы, стабильно, предсказуемо, будто по расписанию, которое не совпадает ни с одним официальным объяснением про «пиковую нагрузку». Мы предполагали что-то вроде этого. Доказать не могли — у нас нет доступа к контрактам Остова, у нас есть только паяльники и упрямство.

— Теперь есть контракт, — говорю я.

— Теперь есть фрагмент контракта у человека, чей собственный дар — прямое порождение и главный инструмент той же самой системы приоритета, которую он собирается разоблачать, — говорит Ася, и в голосе у неё нет злости, только та самая прямота, которая когда-то заставила меня влюбиться в неё и та же самая прямота, которая три года назад заставила меня от неё сбежать. — Ты понимаешь иронию, Кир? Тебя вытащили из Хвоста именно потому, что ты умеешь чувствовать миллисекунды лучше калиброванного оборудования. Это тот же самый принцип, тот же самый товар, что продаётся консорциуму «Тракт», просто упакованный не в оптоволокно, а в человека. Ты не просто расследуешь систему. Ты — часть системы, которая случайно, один раз в поколение, рождается достаточно одарённой, чтобы её нельзя было просто списать в общую статистику.

Я молчу, потому что мне нечего возразить — не потому что она не права, а потому что она предельно, неудобно права, тем самым способом, каким бывает права только Ася, никогда не считавшая нужным упаковывать правду в форму, удобную для моего самолюбия.

— Я хочу довести это до конца, — говорю я наконец. — Не ради искупления, если ты об этом думаешь. Просто потому что я единственный человек, у которого одновременно есть доступ и причина.

— Причина у половины Хвоста, — говорит Ася. — Доступ — только у тебя. Это и есть весь смысл системы, которую ты сейчас предлагаешь ломать: она устроена так, что причина и

доступ никогда не встречаются в одном человеке, кроме как по счастливой, редкой случайности — вроде тебя. Так что да. Я тебе верю. Пока. Условно. И если ты снова исчезнешь на три года в середине этого, Кир, я не буду удивлена — я просто перестану считать это удивительным, а начну считать закономерным, а закономерности, в отличие от разовых предательств, не прощают второй раз.

• • •

Мы не успеваем договорить — Мост у меня на запястье вибрирует служебным сигналом, тем самым, что зарезервирован не для личных контактов, а для рабочих уведомлений первой линии, и я, разворачивая линзу прямо посреди кухни Аси, читаю короткое, сухое, автоматически сгенерированное сообщение от кадровой системы Остова: «Уведомление для сведения: сотрудник М.П. Орлов (архивный отдел, третий уровень допуска) переведён на бессрочный административный отпуск с сегодняшнего дня. Доступ к архивным материалам временно ограничен на период проверки соответствия хранения документации регламенту».

Я смотрю на это сообщение достаточно долго, чтобы Ася успела прочитать его через моё плечо, и достаточно долго, чтобы понять простую, ледяную вещь: между моим визитом на архивный этаж и этим уведомлением прошло чуть больше суток — ровно столько, сколько нужно бюрократии Остова, чтобы заметить нетипичную активность, связать её с именем сотрудника, чьё «своё мнение по некоторым вопросам» когда-то уже стоило ему одной карьеры, и решить, что второй раз рисковать не стоит.

— Он предупреждал, — говорю я тихо, скорее себе, чем Асе.

— Он знал, — поправляет Ася. — Разница небольшая, но она есть.

Глава

ГЛАВА 5

Узор

Официальный доступ инженера приоритета устроен так, чтобы каждый отдельный запрос выглядел безобидным, — и в этом, как я понимаю только сейчас, весь замысел системы, спроектированной, вероятно, теми же людьми, что придумали формулировку «часы минимальной бытовой нагрузки»: любой отдельный взгляд на данные конкретного сектора — рутина, тысячи таких запросов в день, ничем не примечательный шум в логах. Только сложенные вместе, сравненные друг с другом, они превращаются в то, что превращать в единую картину как раз и не полагается рядовому инженеру третьего уровня.

Я делаю это медленно, растянуто на пять дней, по одному запросу за раз, вперемешку с обычной рабочей нагрузкой, — не потому что придумал гениальную маскировку, а потому что элементарно боюсь, помня, как быстро система заметила куда менее демонстративный визит на архивный этаж. Каждый вечер, вернувшись домой, я откладываю очередной кусок данных в личный, не синхронизированный с Каналом накопитель — ещё одна вещь, которой меня никто не учил на курсах, но которой, судя по всему, безошибочно научила меня кровь: как прятать важное от системы, построенной ловить именно тех, кто прячет.

К пятому дню у меня на столе — не абстрактная теория, а узор, вычерченный по данным семи разных секторов Хвоста, разбросанных по всему периметру города так, что при беглом взгляде на карту в них невозможно увидеть систему. Но если наложить графики окон устойчиво повышенной задержки друг на друга, выравнивая не по часам суток, а по фазе рабочих смен каждого конкретного сектора, — узор проступает с той пугающей ясностью, с какой проступает шум помех, оказавшийся на самом деле сигналом, стоит только настроить приёмник на правильную частоту.

Семь секторов. Семь контрактов — я нахожу упоминания ещё четырёх помимо «Тракта», под разными названиями компаний-арендаторов, зарегистрированных, судя по юридическим адресам, в четырёх разных городах, ни один из которых физически не граничит с Отклик, что означает: их интерес — не логистический маршрут в буквальном смысле, не «кратчайший путь к внешнему узлу», как формулировал документ Орлова про «Тракт», а нечто более общее, более системное — попросту доступ к предсказуемо, гарантированно низкой задержке в конкретных временных окнах, продаваемый оптом, как товар, безотносительно к тому, что именно покупатель собирается делать с этими миллисекундами.

Я пытаюсь связаться с Орловым тем вечером — не через служебные каналы, разумеется, а через личную линию, найденную в старом внутреннем справочнике сотрудников, который никто, судя по всему, не удосужился вычистить после его понижения одиннадцать лет назад. Линия не отвечает. Не «занято», не «недоступен временно» — просто ровный, вежливый синтетический голос, сообщающий, что «данный профиль временно не обслуживается в соответствии с изменением статуса пользователя», формулировка настолько бюрократически стерильная, что за ней с одинаковой вероятностью может стоять и рутинная административная процедура, и нечто, о чём мне откровенно страшно думать дальше.

• • •

Инга Стойкова приходит в мой кабинет без предупреждения на следующее утро — не вызывает к себе, что само по себе интересная деталь, которую я осознаю только позже: вызов к себе создаёт формальный след визита в чужой журнал допуска, а её собственный визит ко мне остаётся исключительно на её усмотрение, фиксируется или нет по её же решению.

Она садится напротив, не спрашивая разрешения, тем же самым жестом, каким садятся люди, привыкшие, что их присутствие само по себе не требует приглашения, — и первые несколько секунд просто смотрит на меня с тем выражением, которое я, специалист по чужим миллисекундам, распознаю раньше, чем распознаю смысл её слов: она оценивает мою задержку. Не панель, не показатель на экране — просто человеческую реакцию, ту самую секундную заминку между её появлением и моим ответом, которую опытный следователь читает не хуже официального прибора.

— Кирилл, — говорит она наконец, — как вы держитесь после потери?

— Работаю, — говорю я, стараясь, чтобы голос прозвучал ровно тем самым профессиональным тоном, которым я отвечаю сорок раз в день П-0-клиентам, недовольным сорока одной миллисекундой.

— Это заметно, — говорит она, и я не могу с уверенностью определить, комплимент это или наблюдение с двойным дном. — Матвей Петрович Орлов тоже когда-то так держался. Продуктивный человек, дисциплинированный, никогда не опаздывал ни на одно совещание за все годы, что я его знала. Вы ведь заходили к нему на прошлой неделе?

Вопрос звучит буднично, почти между делом, но я знаю достаточно о работе комплаенса, чтобы понимать: буднично звучащие вопросы Стойковой — самая тщательно отрепетированная часть её арсенала.

— Заходил, — говорю я, потому что отрицать очевидное глупее, чем признать его вскользь. — Хотел спросить про историю системы приоритета для собственного понимания. Он же один из тех, кто её проектировал.

— Разумное любопытство для человека вашего дара, — говорит Стойкова, и в этом «вашего дара» я слышу лёгкое, почти неуловимое ударение, будто она произносит не комплимент, а классификацию, ровно ту же самую, какую произносят про редкое, ценное оборудование. — Матвей Петрович — источник интересной, но, к сожалению, во многом устаревшей информации. У него, как это иногда случается с людьми его поколения и его прежней должности, накопился ряд убеждений, не вполне соответствующих актуальному положению дел. Мы стараемся относиться к этому с пониманием, но интересы компании иногда требуют временных мер предосторожности.

— Временных мер вроде бессрочного административного отпуска?

Она смотрит на меня чуть дольше, чем требует пауза для формального ответа, — не потому что не знает, что сказать, а потому что, я подозреваю, оценивает, стоит ли мой прямой вопрос того, чтобы отвечать так же прямо, или лучше вернуть разговор в русло, где прямота не потребуется ни от кого.

— «Бессрочный» не значит «постоянный», Кирилл, — говорит она наконец. — Значит «до пересмотра обстоятельств». Обстоятельства пересматриваются регулярно. Я здесь не для того, чтобы обсуждать кадровые решения, касающиеся других отделов, — я здесь, чтобы удостовериться, что вы, учитывая недавнюю личную трагедию, не находитесь под чрезмерной нагрузкой, способной сказаться на качестве вашей работы. Ваш дар — актив компании, Кирилл, а активы компании положено беречь, в том числе от них самих, если потребуется.

Формулировка звучит почти заботливо, и в этом, как я успеваю понять за десять минут разговора с ней, весь метод Стойковой: она никогда не угрожает напрямую, она формулирует угрозы как заботу, оставляя собеседнику самому додумывать, где заканчивается участие и начинается предупреждение, — тот же самый приём, которым Орлов описывал ответ комитета одиннадцать лет назад: совокупность безупречно правдивых, вежливых утверждений, ни одно из которых по отдельности не является ложью, но вместе складывающихся в нечто, чему вежливость не мешает быть угрозой.

— Со мной всё в порядке, — говорю я.

— Рада слышать, — говорит Стойкова, вставая тем же плавным движением, каким садилась. — Ещё одна вещь, Кирилл, раз уж я здесь. Ваша системная активность за последнюю неделю показывает несколько нетипичный паттерн запросов — растянутые во времени, но в совокупности покрывающие данные по семи различным секторам Хвоста. Ничего криминального, разумеется, инженер вашего уровня допуска имеет полное право изучать любые открытые данные в рамках профессионального интереса. Просто хочу, чтобы вы знали: система, которую вы помогаете обслуживать, умеет замечать узоры — это, собственно, и есть её основная функция. Иногда полезно помнить, что способность замечать узоры работает в обе стороны.

Она уходит, не дожидаясь ответа, оставляя меня наедине с тем ощущением, которое я, кажется, буду теперь узнавать всякий раз, когда речь заходит об Инге Стойковой: чувством, что только что был не допрошен, а именно предупреждён — вежливо, профессионально, без единого слова, которое можно было бы процитировать как прямую угрозу, но с абсолютной, ледяной ясностью того, что дальше она уже смотрит.

• • •

Вечером я пишу Асе одно короткое сообщение, тем же лаконичным стилем, каким она обычно пишет мне: «Она знает про семь секторов. Не про Орлова конкретно — про паттерн запросов. Нужно решить, что дальше, аккуратнее, чем я предполагал».

Ответ приходит быстро, короче даже, чем я ожидал:

«Тогда решаем не по одному, а вместе. Приходи в субботу. Есть человек, которого тебе стоит услышать раньше, чем ты решишь, что готов пойти дальше в одиночку».

Глава

ГЛАВА 6

Зара

Женщину зовут Зара, и первое, что я замечаю, ещё до того, как успеваю поздороваться, — насколько неестественно долго она реагирует на моё появление в дверях: не секунда-другая обычной вежливой заминки, а полновесных четыре, может, пять секунд, за которые её лицо медленно, будто через толщу воды, проходит путь от нейтрального выражения до узнавания гостя.

Я, разумеется, вижу цифру раньше, чем успеваю сформулировать вопрос, — профессиональная деформация работает без разрешения, — и цифра эта настолько абсурдна для живого, не подключённого к диагностическому стенду человека, что первые секунды я списываю её на ошибку собственного восприятия: что-то около шести секунд задержки на простейшую социальную реакцию, показатель, какого я не встречал даже в самых глухих архивных отчётах про самые заброшенные окраины Хвоста.

— Ты его пугаешь, Зара, — говорит Ася с той мягкой насмешкой, с которой, судя по всему, говорит с ней постоянно, слишком давно знакомая, чтобы церемониться. — Он же чувствует твои секунды, как ты чувствуешь холод. Дай ему привыкнуть.

— Пусть привыкает, — говорит Зара, и голос у неё, в отличие от реакции, звучит совершенно обычно, без малейшего намёка на ту катастрофическую задержку, что делает её присутствие для меня физически неловким тем самым образом, каким неловко смотреть на рану, зная, что смотреть неприлично, но не смотреть невозможно. — Пусть учится, что цифры на панели — не единственное, что стоит уметь чувствовать. Я двенадцать лет живу так, Кирилл. Успел кто-нибудь из твоего Ядра рассказать тебе, что такое приоритет П-7?

Я молчу, потому что официально такого приоритета не существует — шкала останавливается на П-5, я знаю это твёрдо, это часть базового курса, который читают всем инженерам приоритета в первую неделю службы.

— Не существует, — подтверждает Зара, будто прочитав мою растерянность по лицу, что при её задержке кажется почти невозможным трюком, требующим, должно быть, чудовищной концентрации. — Официально. Неофициально существует отдельный, ручной, персональный флаг, который можно поставить конкретному человеку в обход всей тарифной логики — не району, не сектору, а именно человеку, по имени, по коду профиля. Я — одна из немногих, кто носит такой флаг уже двенадцать лет, с того самого дня, когда я организовала забастовку депо третьего сектора, требуя пересмотра тарифной сетки для сменных рабочих.

— Забастовка сработала? — спрашиваю я, хотя догадываюсь об ответе раньше, чем задаю вопрос.

— Забастовка сработала ровно настолько, чтобы Остов понял: рабочие способны координироваться в реальном времени, если у них есть хоть какое-то преимущество внезапности, — говорит Зара. — А внезапность — это, по сути, вопрос скорости реакции: успеть договориться, успеть собраться, успеть выйти всем вместе, прежде чем администрация успеет разделить нас поодиночке. Через неделю после забастовки меня вызвали «на профилактическую беседу», а после беседы я обнаружила, что мир вокруг меня стал отвечать мне на несколько секунд медленнее, чем отвечал раньше, — и с тех пор этот разрыв никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при какой оплате не сокращался. Я пыталась. Платила максимальный тариф, какой могла наскрести, доступный любому жителю Хвоста. Ничего не менялось. Флаг стоит не на тарифе. Флаг стоит на мне лично, как клеймо, которое официально не существует, потому

что если признать его существование, придётся признать, что вся система приоритета — это не про инфраструктуру и не про деньги, а про послушание.

Я сижу с этим фактом дольше, чем требуется для простой вежливости, потому что он меняет масштаб всего, что я успел собрать за последние две недели: контракты с «Трактом» и его двойниками объясняют структурную, безличную эксплуатацию целого района, статистику, усреднённую на тысячи людей, — но персональный, ручной флаг Зары объясняет нечто худшее, нечто, требующее куда более прямого, куда более сознательного решения конкретного человека нажать конкретную кнопку против конкретного, поимённо известного человека, посмеявшегося организовать других.

— Как ты вообще живёшь с такой задержкой? — спрашиваю я, и вопрос звучит грубее, чем я хотел, но Зара, судя по всему, давно перестала обижаться на прямоту, раз уж сама выбрала жить внутри неё двенадцать лет подряд.

— Плохо, — говорит она просто. — Работу удержать почти невозможно — ни один наниматель в здравом уме не станет держать сотрудника, который на шесть секунд отстаёт в любом разговоре, любом собеседовании, любой реакции на простую команду. Я живу тем, что учу таких, как Ася, обходить систему руками, потому что мне, в отличие от них, обходить уже физически нечего — двенадцать лет практики сделали меня, возможно, лучшим специалистом по ручной перепрошивке Мостов в этом городе, просто потому что мне больше нечем было заниматься все эти годы, кроме как изучать то самое устройство, которое меня же и наказало.

Она делает паузу — на этот раз не физиологическую, а сознательную, ту, что предшествует важному.

— Я рассказываю тебе это не ради жалости, Кирилл, — говорит она. — Я рассказываю, потому что ты, судя по тому, что говорит Ася, всерьёз собираешься что-то предпринять с той информацией, что у тебя уже есть. И прежде чем ты решишь, как именно, тебе нужно понять две вещи одновременно. Первая: система умеет наказывать точно, не только массово через контракты вроде «Тракта» — она умеет прийти именно за тобой, лично, без всякого суда, без всякой видимой причины, кроме внутреннего решения кого-то вроде вашей Стойковой. Вторая: несмотря на первое, молчание не защищает. Я молчала бы двенадцать лет назад — меня бы это не спасло от флага, потому что флаг ставят не за то, что ты сказал, а за то, что ты, по их оценке, способен сказать в будущем достаточному числу людей достаточно быстро, чтобы это стало проблемой.

— Тогда что вы предлагаете?

— Не то, что предлагает большинство горячих голов в Хвосте, — говорит Ася, впервые вступая в разговор после долгой паузы. — Не массовое разоблачение по капле, не утечку в прессу — прессы, способной опубликовать что-то против Остова без собственного флага на весь редакционный коллектив, попросту не существует в этом городе. Зара двенадцать лет собирала не только людей для ремонта Мостов, Кир. Она собирала список — всех, кого она знает лично, у кого есть личный флаг, персональная история наказания за скорость. Список большой. Больше, чем ты, наверное, готов сейчас представить.

— Список — не доказательство для суда, — говорю я. — Список — это истории, которые Остов назовёт недостоверными, непроверяемыми, эмоциональными спекуляциями недовольных граждан.

— Список — не доказательство сам по себе, — соглашается Зара. — Но список плюс твои контракты, плюс твоя должность, плюс твой дар, который делает тебя единственным человеком в этом разговоре, способным технически подтвердить, что задержка — управляемая переменная, а не физическое свойство мира, — это уже не история недовольных граждан. Это дело. Вопрос в одном, Кирилл, и я задаю его тебе прямо, потому что мне нечего больше терять, а тебе, кажется, есть: ты готов быть тем человеком, чьё имя окажется под этим делом первым, зная, что случилось со мной за куда меньшую дерзость?

Я думаю о матери — не абстрактно, а конкретно, о восемнадцати минутах, о часах минимальной бытовой нагрузки, о рабочих сменах, продающих её последние секунды консорциуму, которому нет до неё никакого дела. Думаю об Орлове, чья линия молчит вторую неделю. Думаю о собственном лице, которое, судя по тому, как долго на него сейчас смотрят и Ася, и Зара, слишком явно показывает, что я уже всё решил, просто ещё не произнёс это вслух.

— Готов, — говорю я. — Но не хочу повторить твою ошибку, Зара, — прости за прямоту. Не хочу бить в одну точку годами, дожидаясь, пока меня заметят и накажут за упрямство. Если делать это, нужно сделать это так, чтобы ответить сразу всем стало для них дороже и опаснее, чем ответить одному мне.

Зара смотрит на меня долго — свои шесть секунд, — и когда наконец отвечает, в голосе у неё впервые за разговор проскальзывает что-то похожее на осторожную, непривычную для неё самой надежду.

— Тогда тебе понадобится не только список и не только контракты, — говорит она. — Тебе понадобится канал, через который можно сказать это всем одновременно, а не по очереди, — а единственный канал в этом городе, где по закону гарантирована абсолютно одинаковая, нулевая задержка для каждого жителя без исключения, вне зависимости от тарифа, — это канал экстренного оповещения. Тот самый, что звучит раз в год на учениях и который ни разу за всю историю Отклика не использовали для чего-либо, кроме проверки сирен.

— Взломать его — статья потяжелее подделки нарядов, — говорю я, вспоминая формулировку из должностной инструкции, которую когда-то бегло листал и никогда не думал, что она мне пригодится в этом направлении.

— Взломать — да, — говорит Зара. — А вот воспользоваться им законно, по протоколу, если получится доказать, что происходящее подпадает под определение чрезвычайной ситуации, требующей экстренного оповещения населения, — это, Кирилл, совсем другой вопрос. И у меня есть подозрение, что именно этот вопрос тебе, с твоей должностью и твоим доступом, предстоит изучить куда внимательнее, чем изучала его я двенадцать лет назад, сидя без единой возможности достучаться дальше собственного подъезда.

Глава

ГЛАВА 7

Порог

Регламент экстренного оповещения — документ, который я, как выясняется, за три года службы ни разу не открывал целиком, потому что должностная инструкция инженера приоритета отправляет к нему одной сноской, подразумевая, что это чужая епархия, чужой уровень допуска, чужая ответственность. Открыв его впервые в воскресенье, за закрытой дверью собственной квартиры, я обнаруживаю документ куда более интересный, чем ожидал от бюрократического текста, написанного, судя по стилистике, ещё на заре существования Канала, людьми, которые, в отличие от нынешнего руководства Остова, кажется, действительно боялись катастроф, а не только репутационных рисков.

Экстренное оповещение, согласно регламенту, может быть запущено двумя принципиально разными путями. Первый — ручной, санкционированный: подпись должностного лица не ниже определённого уровня допуска, формальный протокол, согласование, время на реакцию, которого у меня, разумеется, нет и не будет никогда, учитывая моё положение в иерархии. Второй путь я нахожу глубже, в приложении, написанном ещё более сухим, ещё более старомодным языком, — автоматический триггер, встроенный в саму архитектуру Канала на случай, если человеческое звено окажется недоступно или скомпрометировано в момент реальной катастрофы: если доля неудавшихся экстренных вызовов — вызовов, не дошедших до диспетчерской в течение регламентного окна, — превышает определённый порог в течение любого скользящего часа, система обязана автоматически, без чьей-либо подписи, объявить состояние «системного сбоя Канала» и временно поднять приоритет абсолютно всех абонентов до П-0, чтобы дать городу шанс среагировать на катастрофу в реальном времени, вне зависимости от тарифа.

Порог указан цифрой, от которой у меня перехватывает дыхание тем самым образом, каким перехватывает дыхание не от страха, а от узнавания: три процента неудавшихся экстренных вызовов в час по всему городу. Я беру статистику, которую собирал две недели, и накладываю её на этот порог — и обнаруживаю, что в часы, официально запроданные консорциуму «Тракт» и его четырьмя двойниками, локальная доля неудавшихся вызовов конкретно по Хвосту регулярно превышает не три, а одиннадцать, иногда четырнадцать процентов. Достаточно, чтобы триггер сработал сам, автоматически, без единой подписи, без единого хакерского вмешательства, — если бы считалось честно.

Триггер не срабатывает. Я проверяю архив системных событий за последние пять лет — ни одного зафиксированного случая «системного сбоя Канала», ни разу за всё время, что я работаю в Остове, ни разу, судя по датам, с момента, когда началось расхождение между вложениями и задержкой одиннадцать лет назад. Ответ приходит не сразу, а после часа настойчивого копания в структуре мониторинга: порог считается не по локальным данным сектора, а по усреднённому, общегородскому показателю, в который данные Хвоста подмешиваются в такой пропорции к данным Ядра, что даже катастрофические четырнадцать процентов локального провала растворяются, размываются в общей массе почти идеальной, П-0-статистики центра, никогда не приближаясь к порогу, рассчитанному так, будто весь город — однородная масса, а не сумма настолько разных частей, что усреднение между ними само по себе становится формой лжи, ничуть не менее изощрённой, чем формулировка «часы минимальной бытовой нагрузки».

• • •

— Значит, порог существует, но его невозможно достичь честно, потому что метод усреднения специально сконструирован так, чтобы его нельзя было достичь, — говорит Ася, когда я приношу эту находку к ней тем же вечером, разложив на её кухонном столе распечатку регламента рядом с распечаткой собственных расчётов, будто мы оба, независимо друг от друга, унаследовали от Орлова его бумажную привычку прятать важное от Канала простейшим из доступных способов.

— Не невозможно, — говорю я. — Просто иначе. Порог считается по общегородскому усреднению — значит, единственный способ его честно достичь, это добиться, чтобы данные считались не усреднённо, а по сектору. Регламент этого не запрещает напрямую, он просто не уточняет, потому что, я подозреваю, авторы документа одиннадцать лет назад вообще не предполагали, что усреднение станет инструментом сокрытия, а не просто удобной формой агрегации данных для человека, читающего дашборд раз в квартал.

— То есть тебе нужно не взломать систему, — говорит Ася медленно, будто впервые пробуя идею на прочность вслух, — а заставить её честно посчитать то, что она и так считает, просто неправильным способом.

— Примерно так, — говорю я. — Если я найду способ временно, законно, в рамках моих полномочий инженера приоритета, изменить метод агрегации для одного конкретного мониторингового окна — не подделывать данные, а просто посчитать их отдельно по Хвосту вместо общегородского усреднения, — триггер сработает сам. Автоматически. Без единой подписи, которую можно было бы потом назвать саботажем или подлогом, потому что технически я не сделаю ничего, кроме честного, точного счёта.

— «В рамках твоих полномочий», — повторяет Ася с явным сомнением в голосе. — У тебя есть такие полномочия?

— Не совсем, — признаю я. — У меня есть полномочия временно перенастраивать параметры мониторинга для конкретных диагностических задач — то, чем я пользовался последние две недели, собирая данные по семи секторам, только теперь мне нужно не собрать данные тихо, а заставить систему честно посчитать их вслух, в реальном времени, в момент, когда доля отказов реально высока, — то есть именно в те часы, что запроданы «Тракту» и остальным.

— А если Стойкова заметит раньше, чем триггер успеет сработать?

Вопрос повисает в воздухе дольше, чем мне хотелось бы, потому что честный ответ на него у меня один, и он мне не нравится: заметит. Обязательно заметит, потому что мой предыдущий, куда более осторожный паттерн запросов она уже заметила за пять дней, а изменение метода агрегации мониторинга — куда более грубое, куда более заметное вмешательство, которое любая система комплаенса, достойная своего названия, обнаружит не за дни, а за часы, может быть, минуты.

— Значит, у меня будет одно окно, — говорю я. — Может быть, одна попытка. Мне нужно точно знать, в какой конкретно час пик отказов, и мне нужно быть готовым сделать всё за то время, что пройдёт между запуском перенастройки и моментом, когда меня остановят, — а этого времени, если Стойкова хоть немного похожа на профессионала, каким она мне показалась, будет очень, очень мало.

• • •

Зара, которую Ася вызывает на связь тем же вечером — не голосом, а через тот же самый рукописный, бумажный код, каким переговариваются люди, знающие цену перехваченного разговора, — реагирует на новость с той сдержанностью, которая, я подозреваю, единственная доступная ей форма энтузиазма после двенадцати лет практики не выдавать эмоций быстрее, чем позволяет собственное тело.

— Одно окно, — повторяет она, когда я через Асю передаю ей суть плана. — Тогда вопрос не в том, сможешь ли ты запустить триггер. Вопрос в том, что именно прозвучит в эти несколько минут абсолютного, честного, вынужденного равенства, когда весь город, впервые

за свою историю, услышит одно и то же одновременно, без единой миллисекунды разницы между Ядром и Хвостом. У тебя будет самое дорогое, что вообще существует в этом городе, Кирилл, — несколько минут, в течение которых скорость больше ничего не решает, потому что она у всех одинаковая. Потрать их не на обвинение. Потрать их на то, что нельзя будет развидеть потом, как бы Остов ни старался всё объяснить и замять.

Я записываю эти слова — не буквально, у меня нет привычки Орлова хранить бумагу, — но записываю тем способом, каким записывают вещи, которые собираются держать в голове до конца, каким бы этот конец ни оказался: не обвинение. То, что нельзя развидеть.

Мост на запястье вибрирует, когда я уже собираюсь уходить, — не служебным сигналом на этот раз, а личным, коротким, от неизвестного мне номера с кодом, который я, впрочем, узнаю профессионально быстрее, чем успеваю удивиться: внутренний служебный код архивного этажа, тот самый, что принадлежал Орлову.

Сообщение состоит из одной строки, без подписи, без объяснений: «Приходи завтра на старое место. Не через парадный вход. Времени меньше, чем ты думаешь».

Глава

ГЛАВА 8

Реестр

«Старое место» оказывается не архивным этажом, а техническим переходом между корпусами Остова, тем самым, по которому нас, стажёров, водили на ориентационной неделе три года назад, — переход официально существует для обслуживающего персонала, редко используется кем-либо ещё, потому что путь через него на четыре минуты длиннее прямого маршрута через главный вестибюль, а в Ядре никто добровольно не тратит четыре лишних минуты, если можно их не тратить.

Орлов ждёт меня в самой середине перехода, там, где ни одна из камер по краям коридора физически не достаёт объективом, — деталь, которую я не заметил бы три года назад, но которую замечаю сейчас, потому что часть меня, видимо, уже начала думать теми же категориями, какими думает человек, привыкший избегать наблюдения не из паранойи, а из необходимости.

Он выглядит хуже, чем неделю назад, — не физически истощённым, а тем особым образом усталым, каким выглядят люди, которые не спали не одну ночь, а знают, что не будут спать ещё много ночей вперёд, и уже смирились с этим как с новой, постоянной чертой собственной жизни.

— У меня было пять дней после понижения, — говорит он вместо приветствия, без предисловий, тем деловым, сжатым тоном человека, у которого действительно нет времени на вступление. — Формально — административный отпуск, домашний режим. Ко мне пришли на третий день. Сказали, что забирают служебное оборудование, положенное к возврату при смене статуса допуска. Забрали не только оборудование, Кирилл. Забрали архив, который я держал дома, — весь, до последнего листа, кроме той папки, что я успел отдать тебе на неделю раньше. Если бы я промедлил с тобой ещё день, отдавать было бы уже нечего.

— Они знают, что вы мне что-то передали?

— Не знаю точно, — говорит Орлов, — но подозреваю, что да, учитывая, с какой настойчивостью младший из двух визитёров интересовался, приходил ли кто-нибудь ко мне на архивный этаж на прошлой неделе. Я сказал, что не помню — старость, знаете ли, память уже не та, — и, кажется, он мне не поверил, но формально возразить было нечему.

Он достаёт из внутреннего кармана пальто не бумагу на этот раз, а маленький, физически изолированный накопитель — старого образца, без единого беспроводного модуля, из тех, что нужно физически вставлять в разъём, чтобы прочитать, антикварная, почти нелепая предосторожность в городе, где всё остальное синхронизируется само собой ежесекундно.

— Это я не успел показать вам на прошлой неделе, — говорит он, вкладывая накопитель мне в руку тем движением, каким передают не улику, а нечто более тяжёлое — ответственность. — Не потому что не доверял. Потому что боялся, что если отдам сразу всё, вы либо не выдержите веса и остановитесь, либо, наоборот, кинетесь действовать слишком быстро, не разобравшись, против чего именно действуете. Теперь у меня нет роскоши осторожничать дальше.

— Что там?

— Внутренняя система, которую в Остове официально называют «Реестром стабилизации контингента», — говорит Орлов, и по тому, как аккуратно, почти брезгливо он произносит официальное название, я понимаю, что сам он называет это как-то иначе, просто вслух не произносит. — Список людей, чей приоритет скорректирован вручную, персонально, вне обычной тарифной логики — не по одному человеку, как ваша знакомая, о которой мне докладывать не нужно, я слышал достаточно историй за долгую карьеру, чтобы догадаться о её существовании

и без имени. Список на момент моего последнего доступа, три года назад, насчитывал триста семьдесят четыре записи. Ставлю на то, что сейчас он больше.

Триста семьдесят четыре. Число, которое ещё минуту назад было бы для меня абстракцией, статистикой, но сейчас, после Зары, после шести секунд её задержки на простое узнавание моего лица, превращается в триста семьдесят четыре человека, каждый из которых где-то в этом городе прямо сейчас медленнее, чем должен быть, не потому что беден, не потому что живёт в старом районе, а потому что однажды посмел сделать что-то, что кто-то в Остове счёл достаточно опасным, чтобы наказать не арестом, не судом — а простой, тихой, почти невидимой корректировкой одной цифры в личном профиле.

— Каждая запись помечена кодом причины, — продолжает Орлов. — Организация коллективных действий. Публичные высказывания против политики компании. Родственная связь первой степени с фигурантом более раннего пункта. Последнее особенномéritocratie, если вам интересно моё мнение, — они не просто наказывают тех, кто действует, они превентивно снижают приоритет ближайшим родственникам, на случай, если те решат унаследовать не квартиру, а убеждения.

Я замираю на этой фразе дольше, чем требуется, потому что она открывает дверь в мысль, которую я, кажется, боялся додумать с самого начала расследования: если родственников первой степени иногда снижают превентивно, входила ли моя мать в этот список хоть по какому-то формальному основанию, была ли её собственная задержка в то роковое утро не только статистическим совпадением с проданным окном «Тракта», но и частным, персональным довеском, о котором я никогда не узнаю наверняка, потому что доступ к этому реестру, судя по всему, закрывается для меня быстрее, чем я успеваю его открыть.

— Вы можете проверить, была ли она там? — спрашиваю я, и голос у меня звучит не так ровно, как мне бы хотелось.

— Уже проверил, — говорит Орлов мягко, тем тоном, каким сообщают плохую новость человеку, который заслуживает знать её точно, а не догадываться всю оставшуюся жизнь. — Её там не было, Кирилл. Ни превентивно, ни по какому-либо другому основанию. Она умерла не потому что кто-то лично решил её наказать. Она умерла, потому что оказалась статистикой в чужом контракте, вообще не заслужив даже персонального внимания системы, которая её убила. Не знаю, легче вам от этого или тяжелее. У меня самого нет однозначного ответа на этот вопрос применительно к собственной жизни.

Я молчу, потому что честно не знаю сам, легче мне или тяжелее, — и, кажется, обе версии правды одинаково невыносимы, просто по-разному: быть персонально, целенаправленно наказанным — это по крайней мере означало бы, что кто-то счёл её достаточно значимой, чтобы заметить; быть просто статистикой — означает, что её не заметили вовсе, что она умерла не как наказание, а как побочный эффект, недостаточно важный даже для того, чтобы попасть в отдельную графу чьего-то злого умысла.

• • •

— Реестр даёт нам то, чего не давал ни один контракт, — говорю я Асе и Заре тем же вечером, разложив содержимое накопителя Орлова на столе Зары, где, судя по всему, уже становится тесно от накопленных за годы улики, которые прежде некому было предъявить в достаточно убедительном сочетании. — Контракты доказывают экономическую эксплуатацию — то, что можно списать на «объективные факторы рынка», если очень постараться и нанять достаточно циничного юриста. Реестр доказывает умысел. Персональный, поимённый, задокументированный умысел карать конкретных людей скоростью их собственной жизни за то, что они сказали или с кем состоят в родстве. Это уже не экономика. Это то самое, что нельзя развидеть, о чём говорила Зара.

— И это же, — говорит Зара, листая распечатанный Орловым список кодов причин с тем же выражением лица, с каким листала бы список имён на братской могиле, — самое опас-

ное, что вы могли бы принести в этот дом. Триста семьдесят четыре записи означают, что как минимум триста семьдесят четыре человека в этом городе, а на самом деле в разы больше, если считать семьи, обязаны Остову лично, персонально бояться того дня, когда этот список станет публичным. Это не просто доказательство. Это оружие, которое одновременно и самое сильное из всех, что у нас есть, и самое опасное для тех, чьи имена в нём стоят, если оно попадёт наружу неаккуратно, без их согласия, без их готовности к тому, что их частная, персональная трагедия станет достоянием всего города в одну минуту.

Ася, до этого молчавшая, поднимает взгляд от списка на мгновение раньше, чем произносит то, что, судя по её лицу, тревожит её с той самой секунды, как она увидела первую страницу.

— Кир, — говорит она тихо. — Проверь моё имя тоже. Пожалуйста. Раньше, чем мы решим, что делать дальше со всем остальным.

Глава

ГЛАВА 9

Код причины

Она в списке.

Я нахожу её имя не в начале, не в конце, а где-то в средней трети накопителя, отсортированного, судя по всему, по дате внесения, а не по алфавиту, — и дата рядом с её именем отбрасывает меня на годы назад, в ту часть моей собственной жизни, которую я, оказывается, помню куда хуже, чем мне казалось: восемь лет назад. Мне было семнадцать. Ей — тоже.

Код причины: «Публичная жалоба на условия труда, поданная от имени третьего лица; последующая огласка через независимые каналы связи». Ни имени третьего лица, ни подробностей — реестр, судя по всему, экономен на детали ровно настолько, чтобы фиксировать факт наказания, не утруждая себя человеческой историей, которая к этому наказанию привела.

— Твой отец, — говорю я вслух, не спрашивая, потому что вспоминаю теперь, спустя восемь лет, с той ясностью, с какой вспоминают вещи, которые в своё время пропустили мимо сознания, занятого чем-то, казавшимся более важным: несчастный случай на депо, где работал её отец, повреждённая рука, отказ администрации признать производственную травму официально, потому что признание означало бы компенсацию, а компенсация — статью расходов, которую проще было не признавать вовсе. Ася тогда ходила по инстанциям — семнадцатилетняя, упрямая, ещё не научившаяся молчать так, как молчат взрослые Хвоста, — и добились-таки какой-то местной, локальной огласки, заметки в районном информационном листе, который читало от силы несколько сотен человек.

— Мой отец, — подтверждает Ася, когда я, наконец найдя в себе силы, показываю ей запись. Она смотрит на экран накопителя дольше, чем требуется для чтения одной строки, и лицо её не выражает того потрясения, которого я, признаться, ожидал, — скорее горькое, застарелое узнавание факта, о существовании которого она, судя по всему, давно подозревала, просто никогда не имела возможности подтвердить документально.

— Ты знала?

— Подозревала, — говорит она. — Восемь лет — достаточный срок, чтобы заметить закономерность, даже не имея доступа к official реестрам. Я всегда была на полшага медленнее тебя, Кир, даже когда мы были детьми и разница между нами формально не должна была существовать — оба Хвост, оба одинаковый базовый тариф. Я думала, это просто я такая — недостаточно быстрая, недостаточно способная, недостаточно та самая редкость, которую замечают и вытаскивают наверх. Ты уехал в Ядро, потому что тебя заметили за талант. Я осталась, потому что меня, оказывается, заметили совсем по другой причине.

Я молчу, потому что то, что она произносит вслух с такой обыденной, почти бытовой горечью, переворачивает во мне что-то, что я, кажется, никогда прежде не проверял на прочность: все эти годы — не только последние три, а ещё раньше, ещё в школьные годы, когда я списывал её реакции на характер, на «медлительность», как я тогда, будучи ребёнком, невольно усвоившим язык системы, называл это про себя, — она несла на себе персональный, целенаправленный, никогда не объяснённый ей вслух приговор за то, что однажды, в семнадцать лет, попыталась добиться справедливости для собственного отца.

— Восемь лет, — говорю я. — Ты живёшь с этим восемь лет, и никто, ни разу, официально тебе даже не сообщил, что происходит.

— А зачем сообщать? — говорит Ася, и впервые за весь разговор в её голосе проскальзывает что-то похожее на настоящую, невыплаканную ярость, а не привычная, отточенная годами прямота. — Сообщить означало бы признать существование механизма, который официально

не существует. Молчание — часть наказания, Кир, такая же весомая, как сама задержка. Тебя наказывают и даже не устаивают объяснением, за что именно, — оставляют гадать самому, списывать всё на характер, на невезение, на что угодно, кроме истины, потому что истина потребовала бы гнева, а гнев без адресата, направленного в пустоту официального «ничего не происходит», выжигает человека изнутри быстрее, чем любая направленная, названная по имени несправедливость.

• • •

Мы сидим в тишине дольше, чем позволяет себе обычно наш разговор, — Зара за это время успевает заварить чай, тем самым жестом, каким заваривала его двенадцать лет для десятков людей, приходивших в эту кухню с новостями, которые невозможно было переварить стоя.

— Это меняет план? — спрашиваю я наконец, потому что кто-то из нас троих должен был произнести практический вопрос вслух, а Ася, судя по всему, ещё не готова думать в практических категориях.

— Не меняет цель, — говорит Зара. — Только делает её ближе. Раньше вы работали ради абстрактного числа — триста семьдесят четыре записи, статистика, которую легко держать на расстоянии. Теперь у вас есть конкретное имя в этом списке, сидящее прямо за этим столом, и я подозреваю, Кирилл, что это меняет для тебя лично куда больше, чем меняет саму механику плана.

Она права, и я это чувствую тем же самым способом, каким чувствую чужие миллисекунды, — не как абстрактную мысль, а как физическую переменную в собственном теле: расследование, начатое как способ понять, почему умерла моя мать, только что стало ещё и способом объяснить, наконец, вслух, самому себе и Асе, почему восемь лет назад между нами что-то сломалось, что я тогда списывал на собственную занятость, на разницу карьерных траекторий, а на самом деле, возможно, было куда более прямым, куда более механическим следствием того, что она с определённого момента объективно, технически стала жить чуть медленнее меня — ровно настолько, чтобы каждый совместный разговор, каждое совместное решение постепенно, незаметно превращалось в асимметрию, в которой я, сам того не понимая, привык вести, а она — привыкла отставать, и оба мы называли это «характером», потому что назвать это правильным словом означало бы признать то, что я узнаю только сейчас, спустя восемь лет и одну смерть.

— Я хочу видеть код причины изменённым, — говорит Ася после долгого молчания, и голос у неё звучит твёрже, чем я слышал за весь вечер. — Не удалённым тихо, кулуарно, в рамках какой-нибудь сделки, которую Остов предложит, если почувствует, что дело заходит слишком далеко. Изменённым публично, вслух, при свидетелях, вместе с остальными триста семьдесятю тремя, потому что если это случится только со мной, тихо, по знакомству, это будет означать, что справедливость в этом городе тоже распределяется по приоритету, а не по праву, — а это ровно то, против чего мы вообще всё это затеяли.

Зара кивает медленно, тем движением, каким кивают люди, давно выучившие цену подобных принципов на собственном, куда более медленном опыте.

— Тогда нам нужна не просто выгрузка данных в момент триггера, — говорю я, чувствуя, как план, до сих пор существовавший в голове разрозненными кусками, впервые складывается в нечто цельное. — Нам нужен формат, в котором прозвучавшее нельзя будет свести к абстрактной статистике. Не «триста семьдесят четыре записи». Имена. Даты. Коды причин, переведённые с бюрократического языка на человеческий, чтобы каждый, кто услышит это в момент честного, всеобщего равенства, о котором говорила Зара, понял не цифру, а конкретную чужую жизнь, лишённую нескольких секунд без объяснения причин.

— Это займёт время на подготовку, — говорит Зара. — И увеличивает риск, что кто-то из трёхсот семидесяти четырёх, о ком мы соберём информацию для трансляции, окажется

недоволен тем, что его частная трагедия внезапно становится общегородским достоянием без предварительного согласия.

— Значит, начнём с тех, кто согласен, — говорю я, глядя на Асю. — С тех, кто сам, вслух, готов сказать: назовите моё имя.

Ася кивает один раз, коротко, тем самым жестом, каким кивала в детстве, принимая решение, от которого, я это помню даже спустя годы, потом никогда не отступала.

— Назовите, — говорит она. — Начните с меня.

Глава

ГЛАВА 10

Предложение

Вызов в кабинет Стойковой приходит официально, через систему, с формальной формулировкой «плановая беседа по вопросам карьерного развития», — и уже сама эта формулировка, куда более вежливая и куда более обставленная протоколом, чем её прошлый неформальный визит в мой кабинет, говорит мне больше, чем сказали бы прямые слова: на этот раз разговор будет фиксироваться, а значит, обе стороны будут выбирать слова так, чтобы их можно было предъявить кому угодно как образец безупречной корпоративной вежливости.

Её кабинет на два этажа выше моего — не потому что должность выше формально, а потому что виды из окон в Остове распределены по той же логике, что и приоритет, только медленнее, декадами, а не миллисекундами: чем дольше человек полезен системе, тем выше этаж, тем шире окно, тем меньше в поле зрения остаётся тех частей города, о существовании которых полезно не вспоминать слишком часто.

— Кирилл, — говорит она, указывая на кресло напротив, — руководство обратило внимание на вашу работу за последние три года. Отдельно — на редкость вашего дара, который, откровенно говоря, компания использует сейчас далеко не в полную силу, ограничивая вас рутинными индивидуальными кейсами вроде утренних жалоб П-0-клиентов на сорок одну миллисекунду.

Я молчу, потому что чувствую, к чему идёт разговор, ещё до того, как она успевает произнести конкретное предложение, — той же самой профессиональной сенситивностью, какой чувствую чужую задержку раньше, чем вижу цифру.

— Мы хотим предложить вам позицию старшего архитектора системной калибровки, — говорит Стойкова, — с прямым подчинением совету директоров, минуя промежуточные уровни. Значительное повышение компенсации. Личный кабинет на верхних этажах. И, что, полагаю, для вас особенно важно после недавней утраты, — расширенный социальный пакет, включающий полное покрытие переезда близких родственников из районов с нестабильной инфраструктурой в Ядро, на льготных условиях, без обычной многолетней очереди.

Формулировка настолько точно бьёт в единственное место, где у меня уже нет ни матери, ни оправдания не расслышать намёк, что я на мгновение теряю дар речи — не потому что предложение соблазнительно само по себе, а потому что оно демонстрирует, насколько тщательно кто-то в этом здании изучил именно то, что могло бы меня сломать, и выбрал момент, когда это изученное слабое место наиболее свежее, наиболее болезненное.

— Странное время для повышения, — говорю я наконец, стараясь, чтобы голос звучал ровно тем самым профессиональным тоном, каким я говорю с недовольными клиентами. — Учитывая, что архивариус Орлов, с которым я имел неосторожность пообщаться недавно, оказался на бессрочном отпуске примерно тогда же, когда система впервые заметила мой нетипичный паттерн запросов.

Стойкова не вздрагивает, не меняется в лице — она слишком хороший профессионал для подобных проколов, — но пауза перед её ответом чуть длиннее обычной, и я, специалист по чужим миллисекундам, ловлю эту паузу с той же точностью, с какой ловлю сорок одну миллисекунду недовольства П-0-клиента.

— Совпадение по времени не означает связь по существу, Кирилл, — говорит она. — Позвольте мне быть откровенной, раз уж вы предпочитаете откровенность формальностям. Компания знает о вашем интересе к историческим данным по распределению ёмкости в отдельных секторах. Компания также знает, что вы недавно потеряли близкого человека

при обстоятельствах, естественным образом вызывающих желание найти виноватого более конкретного, чем абстрактная статистика инфраструктурного развития. Это человечно. Это понятно. Но, Кирилл, — прошу вас поверить мне на слово как профессионалу с куда большим стажем, чем ваш, — то, что вы, возможно, начинаете подозревать, куда сложнее и куда менее злонамеренно, чем кажется человеку в горе. Иногда лучшее, что можно сделать для себя и своей карьеры, — это принять предложение, которое позволит вам расти дальше внутри системы, а не тратить редчайший дар на бесплодную борьбу с тенями собственного горя.

Это хорошая речь. Настолько хорошая, что часть меня — та часть, что три года училась быть удобным, профессиональным, ровным голосом системы, — на мгновение действительно хочет ей поверить, хочет позволить себе роскошь списать всё на горе, принять кабинет с видом, принять переезд для родственников, которых у меня, если совсем честно, уже почти не осталось, и просто перестать чувствовать миллисекунды чужой несправедливости так остро, как я чувствую их последние три недели.

— Мне нужно подумать, — говорю я вместо прямого ответа, потому что прямой отказ прямо сейчас, в кабинете с фиксируемым протоколом, кажется мне менее полезным, чем время на раздумье, — тем более что время сейчас единственный ресурс, который мне действительно нужен.

— Разумеется, — говорит Стойкова, и на её лице проступает нечто похожее на удовлетворение, будто мой уклончивый ответ уже сам по себе засчитывается ей в пользу переговорной победы. — У вас есть неделя. Позиция открыта до следующего понедельника, после чего совет директоров, боюсь, рассмотрит других кандидатов — редких, но не единственных в своём роде, Кирилл, что бы вам ни казалось.

• • •

— Неделя, — говорю я Асе и Заре тем же вечером, разложив на столе не бумаги на этот раз, а собственные, наспех сделанные заметки о расписании «проданных» окон по семи секторам, которые я успел восстановить по крупницам за последние дни. — Она даёт мне неделю, чтобы либо принять предложение и исчезнуть из этой истории тихо, добровольно, без единого формального повода для подозрений, либо — что она не произносит вслух, но подразумевает предельно ясно — оказаться следующим Орловым, только моложе, только без одиннадцати лет форы на подготовку архива, который я мог бы кому-то передать.

— Расписание совпадает? — спрашивает Зара, кивая на мои заметки, с той деловой прямоотой, что позволяет ей не тратить ни секунды на сочувствие там, где сочувствие сейчас менее полезно, чем факты.

— Почти, — говорю я. — Ближайшее по-настоящему крупное окно — контракт с «Трактом», не с двойниками, самый объёмный из пяти — приходится на четверг через одиннадцать дней, вечернюю смену, три часа подряд гарантированно проданной низкой задержки. Это за пределами недели, которую даёт мне Стойкова. Если я приму предложение, у меня не будет доступа устроить триггер к тому моменту. Если откажусь прямо сейчас, у меня, вероятно, не будет доступа ещё раньше, потому что отказ на прямое предложение совета директоров — это уже не подозрительный паттерн запросов, это открытая, недвусмысленная декларация несогласия.

— Тогда не отказывайся, — говорит Ася медленно, будто идея только сейчас складывается у неё в голове в законченную форму. — И не соглашайся. Тяни неделю, как она сама предложила тебе тянуть, — но используй эту неделю не на раздумья о карьере, а на подготовку. Если она думает, что купила себе неделю твоей нерешительности, пусть думает. Мы используем эту же неделю, чтобы успеть подготовить список имён, переговорить с как можно большим числом людей из реестра, кто готов, как я, сказать вслух «назовите меня», и подготовить сам текст трансляции так, чтобы четверг через одиннадцать дней застал нас полностью готовыми, а не всё ещё раздумывающими.

— А если она поймёт раньше, что я тяну не из нерешительности?

— Тогда, — говорит Зара, впервые за вечер позволяя себе то, что у неё, судя по всему, сходит за мрачную улыбку, — у нас будет на одну неделю меньше времени, чем мы рассчитывали, а не на одиннадцать дней. Но у нас всё ещё будет цель, ради которой стоит рисковать этой неделей, Кирилл, и, честно говоря, за двенадцать лет я не видела причины лучше этой, чтобы рискнуть тем немногим временем, что у меня осталось до следующего решения кого-то вроде Стойковой обо мне лично.

Мост на моём запястье вибрирует поздно вечером, когда я уже возвращаюсь домой через границу Хвоста и Ядра, — не служебным сигналом, не личным сообщением от знакомого кода, а тем незнакомым, автоматически сгенерированным уведомлением, какое приходит от системы кадрового учёта раз в квартал с напоминанием о плановой аттестации, только на этот раз текст короче обычного, суше, и адресован явно не мне одному, судя по формулировке: «Уведомление для сведения: в связи с оптимизацией штатной структуры отдела инфраструктурного планирования упраздняется должность архивариуса легаси-документации третьего уровня. Соответствующий сотрудник переведён в статус, не предусмотренный стандартным кадровым классификатором Остова, — код заимствован из системы учёта одного из внешних консорциумов-партнёров и не имеет официального перевода на русский».

Я перечитываю формулировку трижды, несмотря на весь ужас момента, — не потому что не понимаю каждое отдельное слово, а потому что совокупность этих слов означает нечто настолько демонстративно неопределённое, что кажется спроектированным именно ради неопределённости: статус, для которого у Остова не нашлось даже собственного названия, — то есть статус, специально одолженный у чужой, внешней системы учёта именно затем, чтобы никто внутри Отклика не мог сказать наверняка, куда, если называть вещи по-настоящему прямо, только что официально перестал вписываться Матвей Петрович Орлов.

Глава

ГЛАВА 11

Список

Мы обходим людей из реестра вечерами, вдвоём с Зарой — Ася остаётся координировать техническую часть с оставшимися участниками своей группы, а я, как выясняется быстро, в этих визитах скорее обуза, чем помощь: моё лицо, моя одежда, даже манера держать паузу перед ответом слишком очевидно выдают человека из Ядра, и половина дверей в Хвосте закрывается чуть плотнее при виде меня, ещё до того, как Зара успевает сказать хоть слово в моё оправдание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.